Борис ХАЗАНОВ

Рассказы

ImWerdenVerlag
München 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Париж и всё на свете 3
Лигурия 8
Прочее — одежда 16
Сталь и плоть 20
Alter Ego 23

© Борис Хазанов
© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2006. Печатается с разрешения автора.
http://imwerden.de

Париж и всё на свете

I

...Итак, я поселился «на Холме», à la Butte, как здесь говорят; когда вы бредёте от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок, мимо выставки сыров, киоска с газетами всего мира, кондитерских, кафе, китайских ресторанчиков, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает, где играют, сидя на корточках, дети, где какая-нибудь девушка вам улыбнётся, не думая о вас, где торчат такие же бездельники, как вы, где звучит стремительная речь, где журчит смех, — и дальше по улице дез-Аббесс, мимо кафе «Дюрер», мимо какого-то русского ресторана, мимо книжного магазина, где вам зачем-то понадобился «Le Disciple» забытого Поля Бурже и вы лавируете между стопками книг на полу, и вниз по дез-Аббесс, и снова вверх, и поворачиваете к Трём братьям, попадаете на маленькую площадь, к дому-пристанищу поэтов, художников и актёров со смешным названием Bateau-Lavoir, что мржно перевести как Корабль-умывальник или Мостки для полоскания белья, — кто тут только не побывал, здесь ошивались Ван Донген, Хуан Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен, Пикассо писал здесь «Авиньонских барышень», — когда вы снова каким-то образом оказываетесь на улице Лепик, которая кружила следом за вами, и опять вверх, и опять вниз, — то кажется, что вы, как землемер К. до замка графа Вествест, никогда не доберётесь до Холма в собственном смысле, хоть и видите его над домами то там, то здесь, в перспективе тесной улочки, за купами деревьев, — и вот, наконец, остановка: крутая, с многими маршами лестница. Минут двадцать займёт последнее восхождение. Или вы можете встать в очередь перед фуникулёром. Или подойти вплотную по верхним улочкам Монмартра. Теперь она вся перед вами: полуроманская, полувизантийская, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-куполами церковь Святого Сердца, Sacré-Coeur. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой с крестом и Жанна д'Арк с поднятым мечом, взирают на весь Париж.

II

О Париже сказано всё, как о любви сказано всё, что можно сказать; и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. Даже тот, кто окажется здесь впервые, почувствует, что он уже был здесь когда-то. В других городах ощущаешь себя пришельцем, гостем, паломником, туристом; в Копенгагене, волшебном городе, чувствуешь себя туристом; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь, чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды и тусклые отблески дальних огней, и почти невидимую в темноте громаду Святой Марии Спасения по ту сторону Большого канала, проплыть, отдавая дань неизбежному ритуалу, по ночным водам в чёрной лакированной гондоле, вспомнить всё, что было читано, слышано, увидено на экране, — и остаться гостем. В Чикаго, с его downtown, чья красота и величие превос-

ходят воображение европейца, с огромным, как море, озером Мичиган, с молниями автострад, уносящихся к бесконечно далёкому горизонту за сплошными, во всю стену стёклами ночного затемнённого кафе на девяносто шестом этаже небоскрёба Хенкок, — говорят, оттуда видно четыре штата, — в Чикаго, хоть ты и бываешь там чаще, чем в Москве, остаёшься чужестранцем. И, покидая Венецию, покидая Чикаго, думаешь: когда-нибудь приеду снова. Простившись с Парижем, тотчас начинаешь скучать. Тосковать — по чему? Невозможно сказать. Да всё по тому же: по мрачной башне Сен-Жермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы, carrefour des lettres et des arts, как кто-то назвал его, — с недавних пор здесь красуется «Площадь Сартра и Симоны де Бовуар», славная чета сиживала в кафе Флор, в двух шагах отсюда, — по вовсе не знаменитому маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюси и св. Григория Турского, где я прожил однажды шесть счастливых дней, куда заворачиваю каждый раз, каждый год. По набережным Левого берега, по шкафам, лоткам и стендам букинистов — кто только не рылся в них, — по Мосту искусств и Новому мосту, который на самом деле самый старый, ему без малого четыре века. В Париже мы все жили ещё прежде, чем там оказались. Что это: свойство парижского воздуха или заслуга французской литературы?

III

Париж не меняется — по крайней мере, так утверждает молва, — и не потому ли, что этот город, как никакой другой, наделён способностью принять тебя как своего. Не зря он был назван столицей девятнадцатого века, и, в самом деле, можно лишь удивляться тому, что всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши с мансардами, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола, наполовину забранные снаружи узорными решётками. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках — всё как встарь, город давно смирился со своей ролью быть ночлежкой великих теней, огромным словарём цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что всё ещё жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чём я говорю, — повторение сказанного тысячу раз.

Ах, поздно мы проторили сюда дорожку. В Париже нужно жить в юности. В Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью наскоро усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти дворцы и площади одна другой краше: Старый Париж — город архитектурных ансамблей, куда ни повернешь, повсюду эти изумительно продуманные, стройные, разумные и прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром.

В одном стихотворении Арагона говорится, что птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, опускаются, как на протянутую руку, на территорию Франции. Очертания страны напоминают ладонь. Франция открыта двум морям. О двух этнических фондах, образовавших нацию, кельтском и романском, писал Андре Зигфрид ещё каких-нибудь полвека назад. Сравните портрет нормандца Флобера — короткая шея, широкое мясистое лицо и вислые усы старого галла — с физиономией узколицего аскета с впалыми щеками, уроженца Бордо Франсуа Мориака, вы увидите два характерных французских типа. Но сегодня, глядя на толпу в парижском метро, где каждый четвёртый — выходец или сын выходцев из стран бывшего Французского Союза, потомок и представитель чёрного человечества, для которого не существовало

Греции, Рима, Средневековья, Ренессанса, Нового времени, Революции, думаешь о том, что к двум фондам нужно добавить третий, африканский, что здесь происходит рождение новой цивилизации, о которой сегодня мы ничего не можем сказать, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск.

IV

Бродить по городу, сидеть в парках, заглядывать «в вертепы чудные музеев» — после обеда. Зато с утра, проглотив завтрак (довольно скверный в сравнении с немецкими, австрийскими или заокеанскими гостиницами), мы поднимаемся к себе в номер, мы вперяемся в молочный экран. Не начать ли нам, братие, трудных повестей...

Увы, начинали не раз. Роберт Музиль жаловался, что у него в чернильнице асфальт вместо чернил, а в другом письме сравнивал себя с человеком, которые пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше, чем он сам. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. О чём мы, собственно, собираемся поведать миру? Похоже, что записыванье мыслей о романе — суррогат самого романа. Графоманский зуд, порождённый страхом перед пустыней экрана.

Написать о том, как некто собрался писать грандиозный роман-панораму своего времени, вместо этого он пишет о том, как этот роман не удаётся. Ибо время ненавидит таких, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.

Написать роман о сером, неинтересном человеке без имени, без биографии, без профессии, без семьи, о человеке, которого только так и можно назвать: *некто*. О субъекте, чья бесцветность оправдана лишь тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и когда, наконец, он взялся за дело, уселся за компьютер, — он остаётся тем же, кем был: песчинкой в песочных часах. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там, — мутный вихрь увлёк нас за собой, скажем спасибо родине, что удалось унести ноги, возблагодарим судьбу и злодейское государство за то, что мы вообще остались живы.

V

Говорят, роман умер. Умер как литературный жанр, опустился на дно, как Атлантида. Это утешает. Значит, дело не только в неудачливом сочинителе. Это даже не новость: покойник умирал не раз. Осип Мандельштам толковал о крушении человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений, что означало, по его мнению, крах европейского романа — «законченного в себе повествования о судьбе одного лица». Натали Саррот (спустя тридцать лет) объясняла, что персонажи классической прозы, пресловутые характеры, — это фикции: реальная человеческая личность неуловима, непредсказуема; судьба вымышленных героев, сюжет, интрига — всё это износилось до дыр; роман, каким мы его знали со времён подней античности, изжил себя. «Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, с какой издёвкой взглянет на это читатель, — им овладевают сомнения, рука не поднимается, — нет, он решительно не в силах».

De te fabula narratur — сказано о нас с тобой, приятель.

И, однако, погребение не состоялось, и с тех пор панихиду по роману справляли ещё много раз.

Роман возрождается, как Феникс, в новом оперении, чтобы умереть в очередной раз. Роман умирает всякий раз после того, как появляется реформатор романа. Мандельштам объявил роман «Жан-Кристоф» последним произведением этого жанра; но

Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста в самом деле стало казаться, что писать романы больше невозможно. Андре Жид (в «Фальшивомонетчиках») вновь поставил дальнейшее существование романа под сомнение. Вирджиния Вульф («Миссис Деллоуэй») ещё раз заставила серьёзно задуматься о жизнеспособности романного сочинительства. Автор «Улисса» подвёл под романом окончательную черту. Кафка сызнова закрыл роман. Музиль, оставшись в лабиринте один на один со своим романом-Минотавром, пал в единоборстве, но успел нанести роману смертельный удар.

Король умер — да здравствует король!

VI

Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель бросает вызов «эпохе». Я подумал, что заметки «по поводу», может быть, столкнут с места мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не даётся? Но ведь это означает, что где-то в неведомых далях его персонажи всё-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе.

Отсюда, между прочим, вытекает, что роман в лучшем случае может состоять лишь из фрагментов. Последовательное повествование — достоянье других времён, когда герой романа был субъектом исторического процесса. Сейчас он только объект истории.

Век миновал, «наш» век, — не хотели бы мы принадлежать этому гнусному веку! Но что было, то было, и, мнится, время подбить итог. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба, чтобы получилось созвездие. Доступно ли это нам, всё ещё живым свидетелям, недобитым жертвам? Скажут, что получается круг, называемый petitio principii: задавшись вопросом о характере эпохи, мы тем самым уже исходим из представления о целостной эпохе. Между тем ещё предстоит собрать её по кусочкам, как скелет ископаемого ящера, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.

Самые разные события происходят в одно время, под общим знаком, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной перекличке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. На самом деле она представляет собой умозрительный конструкт. Именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким на самом деле?

VII

Гипертрофия памяти — старческий недуг наподобие гипертрофии предстательной железы. Молодость побеждает агрессию памяти, молодость, собственно, и есть победа над памятью, забвение — механизм защиты; мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью памяти. Отложения памяти, как известь, накапливаются в мозгу. Склеротическая память, словно горб, не даёт распрямиться. Старение — потеря способности забывать. Вот что это такое. Бессонница воспоминаний. Сидение без сна, под мурлыканье космической музыки, перед домашним экраном, на котором проплывают очертания материков. Но на самом деле перед глазами проплывают годы. Мы умираем, раздавленные этим бременем.

В каждом сюжете скрывается неисчислимое множество вариантов, и каждая страница, как и всякий день жизни, — перекрёсток многих дорог. Куда направиться?

Почему отдано предпочтение этому варианту, а не другому? Невозможно отделаться от мысли, что самыми важными поворотами жизни мы обязаны случаю, но не то же ли совершается в истории? Рим постигла бы иная судьба, будь у царицы Клеопатры нос на полдюйма длиннее, сказал один мудрец. Что мешало военному губернатору Иудеи вздёрнуть на позорный столб уголовного преступника Варавву, а Иисуса помиловать? Последующие века выглядели бы по-иному.

Стрелочник перевёл стрелку, и поезд послушно свернул на другой путь, и вот уже другой пейзаж бежит за окошком, другие станции, другие земли. Тот, кто, подобно историку, смотрит назад, видит множество рельсовых путей, все они сходятся к одному единственному пути; но для того, кто смотрит вперёд, веер дорог не сужается, а раздвигается. Лишь одна из многих возможностей будет реализована. Однако и прошлое когда-то было будущим. Всякая история есть всего лишь осуществившийся вариант. Подчас вероятность случиться тому, что не случилось, была ничуть не меньше того, что случилось. Так в старости женщина с сожалением вспоминает о претендентах на её руку, которым она отказала. Вместо этого вышла за какого-то сморчка. Так шахматист раздумывает над проигранной партией, вновь расставляет фигуры и переигрывает игру.

«Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай...»

VIII

Гигантская тень Льва Толстого нависла над русской литературой. Несчастная уверенность в том, что жизнь сообщества бесконечно важнее, чем жизнь и участь отдельного человека, настолько велика, что побуждает сочинять народно-исторические эпопеи до сих пор.

Замысел кажется великолепным, вдохновляющим, окрыляющим, а как дошло дело до исполнения... Медуза переливалась красками радуги, пока плыла в воде, стоит её выловить — комок бесцветной слизи. Произведение, сказал Беньямин, — это посмертная маска замысла.

Странно, что никто (по-видимому) не задумался всерьёз, отчего самый знаменитый писатель наших дней потерпел фиаско со своей эпопеей. Замысел был пограндиозней «Войны и мира». Было очевидно, что идеолог пожрал художника; что писателя погребла под собой лавина документального материала; что приёмы письма и гротескный слог сами по себе сделали эту прозу нечитабельной; что, оставаясь в веригах устарелой поэтики, романист спасовал перед областью действительности, запредельной его собственному жизненному опыту; к этому можно добавить несколько частных неудач и прежде всего неумение создавать женские образы, пробный камень всякого прозаика. Всё это так, но коренная причина, как мне кажется, лежит глубже. Фатальной ошибкой была презумпция архаического жанра. Проект всеохватного эпоса, в котором судьба и поступки действующих лиц, будь то царь или крестьянин, купец или революционер, должны была выглядеть как отражение и часть истории, — был заведомо обречён. Хочешь не хочешь, а роль персонажей становится функциональной. Они кого-то «представляют». От этой патриотической или антипатриотической роли — злополучной иллюстративности — невозможно никуда деться. Многоосная музейная колесница с паровым котлом, неприспособленная для современных дорог и скоростей, ползла еле-еле и, наконец, стала. В который раз пришлось убедиться, что время монструозных эпопей прошло совершенно так же, как «умчался век эпических поэм».

IX

Джойс, узнав о начале Мировой войны, сказал: а как же мой роман? В третьей главе «Улисса» Стивен Дедалус произносит фразу, которую, должно быть, не раз повторял его создатель: «История — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться».

Снова задаёшь себе вопрос, возможно ли связать то, что никак не связывается, найти волшебное уравнение литературы, соединить два времени, историческое и человеческое. Мы оказались в ситуации тотального отчуждения человека от истории. Никогда прежде зловещие призраки Нации, Державы, Славного Прошлого и как они там ещё называются — не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость человеческой жизни не падала так низко. И, может быть, литература — единственное, что у нас осталось на обломках веры в исторический разум, литература, которая всё ещё отстаивает суверенность личности, литература, последний бастион человечности. Может быть, поэтому роман и остался в живых.

X

Итак, я приземлился в CDG. Аббревиатура, означающая: Шарль де Голль. Аэропорт разместился на северо-востоке от города, до Монмартра не так уж далеко. Подъехали к устью сбегающей вниз узкой мощёной улочки, таксист извлекает багаж из багажника. Пятнадцать шагов вверх по улице Толозе, пешком, чемодан на колёсиках, лебтоп в сумке через плечо.

Просят извинения: только что съехал прежний постоялец, в номере ещё не прибрано. Выйдем на улицу в рассуждении закусить где-нибудь рядом. Весенний день, будничная суета, и чувство внезапного счастья от знакомого запаха дрянной кухни из подвальных окон соседнего дома. Счастья вернуться в Париж.

Лигурия

Так получилось, что мне пришлось совершить эту поездку в самое жаркое время года; запомнилось сизое и сверкающее, как сталь, море, белая от зноя дорога, белая пыль, покрывшая сиденье автомобиля, меня и моего спутника. Тот, кому знакомо лигурийское побережье, знает, что можно ехать часами вдоль каменных стен, за которыми прячутся виллы, мимо отвесных скал и пологих склонов, поросших зеленовато-серым кустарником, мимо террас с виноградниками, и никого не встретить. Шофёр нетвёрдо знал дорогу, мы достигли местности, называемой Cinque Terre (что, по-видимому, следует переводить «пять селений»), время от времени тормозили в каком-нибудь объятом летаргическим сном городке. Нигде не удавалось толком узнать, далеко ли осталось ехать. Я знал, что дорожные указатели могут увести в другую сторону, но и указателей не было. Стало ясно, что мы пронеслись мимо цели. Пришлось возвращаться, наконец, показалась бухта. Подъехали к плотам. «Здесь?» — спросил шофёр, развернулся и укатил в клубах пыли.

Несколько лодок и моторный баркас с мачтой для паруса и флагом на корме, скрипя бортами, покачивались на воде. Поодаль в море кто-то в лодке удил рыбу. Мальчик подплыл и, видимо, с трудом мог понять мой ужасный итальянский язык. Я дал ему что-то, он подтянул штаны и поплёлся в деревню. Сидя в тени под навесом, я

дремал, передо мной проплывали оранжевые круги, искры моря, белая от зноя дорога. Автомобиль остановился над обрывом, внизу брызги и пена прилива, водитель повернул ко мне лицо, искажённое ужасом. Водитель тряс меня за плечо с беззвучным криком. Лодочник, смуглый парень в плоской соломенной шляпе с лентой, держал ладонь у меня на плече. Я поднялся.

Где-то далеко за горизонтом лежал корсиканский берег, островок должен был находиться на середине пути. Под убаюкивающее постукиванье мотора, бесшумно рассекая изумрудную гладь, мы шли вперёд, в сверкающую даль моря, я поднял голову, провожатый величественно сидел на корме, прочь от нас уходил серебряный пенистый след, впереди — бесконечная тускло-блестящая пустыня. Я вопросительно взглянул на кормчего, хвостики ленты порхали на его шляпе, мне показалось, что он пожал плечами. Мои часы остановились. Мой итальянский подвёл меня, матрос решил, что я еду на Корсику. Я стал мысленно перебирать всех, кто снабдил меня сведениями об островке, и вспомнил, что никто не показал мне его на карте, — означало ли это, что острова не существовало? Что же ты раньше мне не сказал, пробормотал я по-русски. В ответ рулевой медленно, важно кивнул, не меняя курса. Сонливость снова одолела меня. Разлепив веки, я увидел, что горизонт прояснился: это была полоска земли.

Обнесённый стеной, остров медленно поворачивался, пока не показались ворота, сваи причала, мотор был выключен, судёнышко развернулось и мягко стукнулось о мостки. Солнце палило с небес; не видно было никого кругом. Матрос протянул мне руку, я спрыгнул с кормы на пристань. Я рылся в портмоне. Он возразил, помогая себе знаками, что завтра вернётся за мной, тогда и расплатимся. Стук мотора затих вдали. Я подошёл к воротам. Наверху красовалось латинское изречение, и два ангела, знавшие лучшие времена, держали крест. Сбоку от входа висела мраморная табличка.

Стоя перед воротами, я разглядывал вывеску у ворот, выбрал самое длинное слово и составил из его букв десять коротких слов. По-прежнему никого не было. В отчаянии я озирался, наконец, вдалеке показались двое, человек и собака. Огромный чёрный пёс едва удостоил меня взглядом, моргая, сел на задние лапы и уставился на море. Мужик в войлочной шляпе, в рубище, с вытекшим глазом, похожий на пастуха или нищего, спросил, есть ли у меня permesso. Последовал разговор (подкрепляемый жестами) на смеси итальянского с вульгарной латынью, — вероятно, так говорили в этих местах тысячу лет назад.

«Какое разрешение?»

«Обыкновенное»

«Нет, конечно», — сказал я.

«А ты кто такой будешь?»

Я попытался объяснить.

«Закрыто», — сказал одноглазый.

«Как это, закрыто?»

«А вот так. Никого не пускаем».

Возможно, подразумевался весь остров, а не только то, что находилось за воротами.

«Ну, хорошо, — сказал я и вытащил кошелёк, — надеюсь, мы сговоримся...»

«Чего ты мне суёшь».

Фраза на диалекте, которая за этим последовала, скорее всего означала: вали откуда прибыл.

Некоторое время мы стояли друг против друга, признаюсь, у меня было сильное желание съездить ему по небритой физиономии. Он оглядел меня своим единственным оком и произнёс:

«Сиятельство отдыхает».

По-видимому, всё ещё продолжалась сьеста; день казался бесконечным.

Зверь нехотя поднялся и побрёл по каменистой тропе, мы следом. Обогнули стену, там оказался дом, каменный, по виду очень старый; низкая дверь без крыльца, тёмные оконца под буро-рыжей черепичной крышей и солнечными часами. Провожатый исчез. В прохладном сумраке я сидел за огромным дубовым столом, из-под которого выглядывала желтоглазая морда. Прошло сколько-то времени, наверху заскрипела дверь. Её сиятельство, осанистая, полнотелая старуха в чёрном шёлковом одеянии до лодыжек, в крошечных домашних туфлях, держась за перила, другой рукой придерживая платье, сошла по лестнице. Я встал.

Я представлял себе её иначе. Я вообще не имел представления, кого я здесь встречу. Встречу ли кого-нибудь? Круглое моложавое лицо, какое бывает у очень старых и дородных женщин. Прямые белые волосы, усики над углами рта, двойной подбородок. Никаких украшений, кроме цепочки с медальоном на груди.

Пёс выбрался из-под стола, лизнул руку старой даме.

«Вот что значит хорошее воспитание. — Должно быть, мне следовало поцеловать ей руку. — Он старше меня, — добавила она. — Если не ошибаюсь, ему за восемьдесят. Не правда ли, Че́рберо?..»

Хозяйка хлопнула в ладоши. Появился субъект в войлочной шляпе, мой знакомец.

«Я предполагаю, что наш гость проголодался», — сказала хозяйка по-французски.

Она коротко, вполголоса отдавала приказания одноглазому.

«Вы должны извинить его, за столько лет я так и не смогла научить его быть вежливым...»

«Мне говорили, что пропуск не нужен».

«Пропуск?»

Я объяснил, что от меня потребовали предъявить пропуск.

«Ах, эти формальности... Ничего не нужно. Вам, во всяком случае».

Должен ли я что-то уплатить, спросил я.

«Ах, оставьте. Я рада вашему прибытию».

Разве она меня знает?

Она развела руками: «Кто же вас не знает».

Я понял, что мне не следовало приезжать. Из вежливости я поинтересовался, часто ли... э?..

«Часто ли приезжают к нам? Да, туристы иногда; всё-таки есть на что поглядеть... Что касается посетителей вроде вас, то, как вам сказать. Могло быть и больше».

Она уставилась на меня, у неё были мертвенно-чёрные глаза без зрачков.

Мне стало как-то не по себе, я возразил:

«Прошу прощения, princesse,[1] я тоже в некотором роде турист».

Владелица острова подняла брови.

«В самом деле? Мне кажется, вы ошибаетесь. Что же вас привело сюда?»

«Вы только что сами сказали. Поглядеть».

«Так, так. Поглядеть, — сказала она, кивая. — Между прочим, здесь много ваших коллег. Я хочу сказать — которым, как и вам, только здесь и место...»

В эту минуту из коридора выступило шествие.

Впереди шагал циклоп-мажордом, теперь он был в белом, в белых перчатках, на голове накрахмаленный колпак, из чего следовало, что он исполнял одновременно обязанности шеф-повара. Сразу же скажу, что он исполнял их отменно. На вытянутых руках шеф нёс на подносе овальное блюдо под серебряной крышкой. Следом за ним

[1] княгиня (фр.).

шёл худенький, бледный, очень красивый мальчик в опрятном чёрном костюмчике, в коротких штанишках и чёрных чулках, нёс второй поднос. За мальчиком двигался некто высокого роста, тощий, без всякого выражения на лице; я говорю, на лице, но у него и лица не было: так, что-то неясное. Этот персонаж катил перед собой столик-тележку.

Компания расставляла бокалы, тарелки с вензелями, соусники, раскладывала приборы и салфетки, в центре был водружён огромный, как баобаб, канделябр. С некоторым ошеломлением взирал я на пиршественный стол; хозяйка гостеприимно обвела трапезу пухлой рукой в кольцах.

«Надеюсь, вы отдадите должное... Наша кухня унаследовала секреты этрусков».

Спрашивается, какая может быть особенная кухня на островке величиной с воробьиный нос. И причём тут этруски? Я поблагодарил, для начала выпили по рюмке чего-то зелёного и жгучего. Была предложена лёгкая закуска: пикантный пирог, омлет с трюфелями и торт из овощей. После чего домоправитель разлил по бокалам вино цвета грозового заката. Поднял серебряную крышку.

«*Coniglio arrasto alla ligure*!» Это был жареный кролик по-лигурийски. Мы подняли бокалы.

«Поздравляю с прибытием».

В своём углу доберман по имени Черберо, которому повязали вокруг шеи белый фартук, с увлечением хлебал что-то из глиняной миски.

«Ну как?» — несколько свысока осведомилась хозяйка.

Я объявил, что давно уже не ел такого вкусного coniglio по-лигурийски.

«А вы уверены, что вам вообще когда-нибудь приходилось пробовать это блюдо?»

Мальчик бегал вокруг стола, убирал тарелки, ставил чистые. Явилось вино цвета северного сияния.

«Вы, конечно, думали, что никто здесь не интересуется литературой. С одной стороны, вы правы...»

«*Abbachio alla romana*!» (Римский молочный барашек под соусом).

Человек с лицом без лица, занявший пост перед аркой, зычным голосом объявлял перемены, обращаясь скорее к кому-то в коридоре, чем к сидящим за столом.

«Сильвио, не так громко... — попросила госпожа. — Да, вы правы. Для быдла, которое именует себя цивилизованным обществом, больше не существует ни Вергилия, ни Данте, ни Шекспира. Для него и вы не существуете... Ничего не поделаешь. Нужно выбирать: или демократия — или культура».

«*Cima alla genovese*!» (Фаршированный ягнёнок по-генуэзски).

Вспомнилось, что я с утра ничего не ел. Утро казалось очень далёким. Проглотив первый кусок, я счёл уместным заявить, что давно не отведывал такого чудного молочного барашка и такого восхитительного фаршированного ягнёнка.

Старуха вытерла увядший рот салфеткой.

«Не могу утверждать, что чтение ваших произведений доставило мне безусловное удовольствие. Но, — она подняла палец, — возбудило интерес. А это уже кое-что значит, не так ли? Давайте поговорим о вас».

«Обо мне?»

«Боже мой, о ком же ещё. Мне известна ваша биография... в общих чертах».

«*Saltimbocca alla romana*!» — вскричал сухопарый герольд. (Рулет по-римски с ветчиной и шалфеем).

«О! — сказал я. — Обожаю рулет».

«Подытожим в двух словах... Мне известно, что вам не было пятнадцати лет, когда вы сбежали от домашних. Вас нашли в южном городе, в гавани, где вы пытались

уговорить какого-то капитана дальнего плавания помочь вам бежать за границу. Он оказался порядочным человеком... Верно?»

С полным ртом я кивнул, не имея возможности что-либо сказать.

«Через год вы снова ушли от родителей. На этот раз окончательно... Путешествовали с геолого-разведочными партиями — род легального бродяжничества в вашей стране. Далее, я достаточно осведомлена о вашей неописуемой сексуальной жизни. За то, что вы были неразборчивы, вам, простите за откровенность, приходилось расплачиваться, и не раз. Сколько у вас было женщин?»

«Я не считал».

«Напрасно. Ваш соотечественник Пушкин составил свой донжуанский список. Там были знатные дамы и крестьянские девушки».

Я пробормотал:

«*Друзья! не всё ль одно и то же: забыться праздною душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой*?»

«Что это?»

«Пушкин».

«И о чём же он говорит?»

«Он говорит, что когда дело доходит до дела, все женщины одинаковы».

«Ваш великий поэт — циник. A votre santé...»[1]

«*Arrosto di vitello al latto*!» (Обжаренная телятина в молоке).

Внесли нечто источавшее упоительный аромат. Разлили коралловое вино. В своём углу Черберо аппетитно хрустел чем-то твёрдым.

«Так как вы писали стихи, не будучи официальным поэтом, следовательно, не имея соответствующего разрешения, вас сослали, может быть, вы напомните мне — куда. Полагаю, что Вам следовало бы поклониться тирану в ножки, ведь благодаря ему вы сделались знаменитостью... Кончилось тем, что вас заставили покинуть родину. Вы были счастливы. Вы были безутешны. Вы давали интервью направо и налево. Помнится, на вопрос, что такое отечество, вы ответили: место, где вы не будете похоронены. Надо признать — как в воду глядели... А когда кто-то пожелал узнать, как вы чувствуете себя за границей, вы сказали: чужбина не стала родиной, зато родина стала чужбиной. Позвольте вас спросить: где вы вычитали это изречение?»

С орудиями еды в обеих руках, я оглядывал стол, словно боец, отыскивая достойного противника.

«Оно принадлежит одному немцу-изгнаннику. Кто-то перевёл вам эти слова, вы ведь не знаете немецкого языка. Вы не знаете толком ни одного языка. Неудивительно: вы, милейший, никогда ничему не учились. Вы полагаете, что говорите со мной по-французски, но я единственный человек, который способен вынести ваше ужасное произношение... Само собой, вы не в состоянии были прочесть и эту латынь. Ту самую, над воротами... Ex omnibus bonis, quae homini natura tribuit, nullum melius esse tempestiva morte. Знаете ли вы, что она означает? Из всех благ, какими природа одарила человека, нет лучшего, чем своевременная кончина».

«Вот как? А я думал...»

«Плиний Старший, — сказала она. — Древние были не глупее нас. Не имеет значения, что вы думали».

Я крякнул от удовольствия, телятина была роскошной — перезрелая дева, наконец-то дождавшаяся брачной ночи.

«Спросите себя: кто вы такой? У вас не только нет родины, в сущности, у вас не было и родителей. Вы облысели, ваше лицо приобрело пергаментную гладкость, подозреваю, что и с вашей легендарной мужской мощью давно уже не всё в порядке...

[1] ваше здоровье (фр.)

Жизнь-то прожита, — чего ждать? Скажу больше: жизнь изжита. Лучшее из написанного вами позади. Вы перешли на прозу — по общему мнению, она не выдерживает сравнения с вашей поэзией. Вы презираете критиков — теперь они отвечают вам тем же. Бульварная пресса уже не интересуется вашими похождениями, вас перестали осаждать корреспонденты. Вы и сами не перечитываете свои сочинения, потому что боитесь собственного суда. Этот суд беспощаден. Встаёт вопрос о долговечности ваших писаний. Спросите самого себя — разве всего этого недостаточно?»

Выслушав эту галиматью, я расхохотался.

«Недостаточно для чего? Для того, чтобы приехать к тебе в гости?»

Она не обратила внимания на моё «ты».

«Для того, чтобы просить у меня убежища», — сказала она строго.

«У меня впечатление...»

«Сначала проглотите еду».

«У меня впечатление, что ты меня ждала».

«Pourquoi pas?[1] Что ещё остаётся делать человеку в вашем положении?»

«Много ты понимаешь, — пробормотал я, — тебе сто лет...»

«Вы забыли, что разговариваете с дамой».

«Ну, пусть девяносто... Что мне ещё остаётся, ха-ха. Это у тебя ничего не осталось! Это ты забыла, — сказал я, потрясая вилкой, — да, забыла, что такое жизнь. Сидишь здесь со своим кобелём... Жизнь — это нечто необъятное, невероятное, неописуемое. Моя жизнь!»

Даже удивительно: с чего я так разошёлся?

«*Crostini di cavolo nero! Sauté di vongole*!» (Поджаренные хлебцы. Печёные венерины ракушки под лимонным соусом).

«О да. Ещё бы. Известность, слава. Кажется, вы даже отхватили — простите за вульгарное выражение и простите мою забывчивость: как называется ваша премия? Впрочем, где она. Вы всё раздали жадным друзьям и случайным собутыльникам».

«*Tortelli di patate*!»

«Пельмени с картошкой!» — вскричал я. И вновь почувствовал зверский аппетит.

«Но, Боже мой, разве так уж трудно понять, какова цена всему этому...»

«*Cinghiale in salmi*!» (Рагу из дикого кабанчика).

«Нет, это просто удивительно. Я как будто вас уговариваю. А между тем мы не дошли ещё до самого главного...»

«Должен сказать, что я давно уже...»

«Не пробовали такого рагу из кабанчика?» — съязвила она.

«Вот именно, ma princesse».

«Можете звать меня: ma chère».

«Вот именно, дорогая!»

Шеф, с которого ручьями лился пот, сорвал с головы колпак, утирал лицо и затылок. Мальчик стоял, тяжело дыша от беготни. Человек без лица покачивался, как под ветром, хрипло возглашал названия яств. Тьма упала, как это бывает на юге, внезапно. На столе пылал канделябр. Внесли фазана. Внесли утку под пеласгийским соусом и фаршированные сардины из Сицилии. Подъехали на тележке пироги, торты и кексы. Огни свечей двоились. Полное лицо хозяйки всходило и растекалось, как опара, — несомненное следствие съеденного и выпитого мною. Нашему вниманию было предложено вино цвета вечернего моря. Это о ней, сказала старая синьора, о морской глади, залитой заходящим солнцем, как скатерть вином, говорит Гомер: *ойнопс*, винноликая.

[1] возможно (фр.).

Пёс в замаранном нагруднике, протянув лапы, густо храпел на полу возле кастрюли с недоеденным супом из бычьих яиц и хвостов.

Моя хлебосольная хозяйка деликатно осведомилась, не испытываю ли я потребности освободить желудок. Знаем, как же, проворчал я. Метод, к которому прибегали римляне. Пощекотать пёрышком нёбо, и поехало. А после продолжать пир. Но жалко, чёрт возьми.

Она отставила бокал. Я почувствовал на себе её непроницаемо-чёрный, кофейный, я бы сказал, взгляд.

«Знаю, — сказала она, — о чём ты думаешь. (Наконец, и она перешла на ты). Ты думаешь: будь она на шестьдесят лет моложе, уж я бы её не пропустил... У тебя грязное воображение. Признайся, я тебе нравлюсь!»

Я идиотски осклабился.

«Что же ты медлишь?»

Я сделал вид, что хочу подняться, это в самом деле было непросто.

«Сиди... — она презрительно махнула рукой. — Не о том речь».

Явились сыры, фрукты и кувшины с мальвазией.

«Ты сказала, мы не дошли до главного... Что же главное?»

«Главное... Главное — вопрос о смысле. Высший смысл — это бессмыслица. Высший ответ... Ты разглагольствовал о том, что пожертвовал родиной ради литературы... Тебе не приходила в голову простая мысль, для чего ты пишешь? Для кого... Посмотри вокруг».

Я обернулся. Под сводами было темно.

«Цивилизация переродилась. Плебс объелся хлебом и зрелищами. Литература ему не нужна».

Свечи уменьшились на две трети, воск капал на скатерть. Мы лениво лакомились миндальным тортом, фрустингольским пирогом с финиками, миланской шарлоткой, занялись засахаренными потрохами сабинского единорога и запивали их граппой, бенедиктином и густым смолистым вином цвета звёздной ночи.

«Есть много всяких теорий, и медицинских, и каких угодно. Всё это не основание. Всё это только повод. Поводы всегда найдутся. Причина, подлинная, глубокая причина, всегда одна. Открытие, которое делают рано или поздно, которое, без сомнения, сделал и ты, pardon: вы... Даже если вы не отдавали себе в этом отчёта... Ну, ну, не делайте вид, будто вы не понимаете, о чём речь».

«Какое же открытие?» — спросил я, осушил бокал и, пожалуй, чересчур твёрдо поставил его на стол. Из мрака выскочил мальчик и вновь наполнил чашу.

«Будто вы не знаете».

Я пожал плечами.

«Будто вы не догадываетесь. Великое чувство пустоты. Вот что это такое».

И, отколупнув крышечку медальона, она показала мне. Я взглянул — там что-то лежало. Там ничего не было.

«И вот...» — продолжала хозяйка, устремив, словно в трансе, чёрно-слепой взор поверх стола, поверх безбрежной жизни, гнусной действительности.

«И вот человек начинает вести себя по-особому. Чувствовать себя по-особому. Всё, что он видит вокруг, становится зна́ком и приглашением. Он часами стоит на Бруклинском мосту. Взбирается на смотровую площадку Эйфелевой башни, чтобы, склонившись над барьером, вперяться в пропасть, на дне которой бродят крошечные люди и стоят игрушечные автомобили... Он коллекционирует снотворные таблетки. Садится в машину и несётся к месту, где достаточно слегка повернуть руль, и врежешься в скалу. Пробует прочность верёвки, привязав её к крюку, на котором висит люстра,

в номере деревенской гостиницы, и редактирует текст, который должен остаться на столе. Он необыкновенно спокоен, как никогда не был спокоен и умиротворён в своей безалаберной жизни. Ибо он знает: его ждёт освобождение...»

У меня не было ни малейшей охоты поддерживать эту тему. Время было позднее; слуги деликатно удалились; на всякий случай я осведомился о ночлеге.

«Разумеется, что за вопрос. Чувствуйте себя как дома. В сущности, у вас нет никакого дома, ведь правда?»

«Завтра за мной приедут».

«Если приедут».

Я пропустил эти слова мимо ушей.

Наступило молчание. Старая дама вздохнула, хлопнула в ладоши. Одноглазый домоправитель предстал, явившись ниоткуда.

Она показала глазами в угол, слуга растолкал пса. Че́рберо поднялся, шатаясь, приковылял к хозяйке.

«Ключ», — сказала она кратко.

Зверь зацокал когтями по каменному полу и скрылся под тёмной аркой коридора. Немного погодя он показался наверху, в нерешительности стоял на площадке.

«Ничего, ничего, — проговорила она. — Coraggio...[1] тебе полезно».

Черберо сполз кое-как с лестницы и остановился передо мной, держа в зубах длинный заржавленный ключ.

Княгиня сказала:

«Вы, кажется, хотели, э... осмотреть... Я встаю поздно. Выберите время сами».

Ключ хлябал в замочной скважине. Со скрежетом разошлись створы ворот. Я вступил на заповедную территорию, мучительно зевая от недосыпа. Голова трещала, у меня было странное чувство, что я — не совсем я, и даже вовсе не я, но кто-то меня изображающий, — очевидное следствие перепоя. Было бы недурно опохмелиться, да уж где там — я рассчитывал быстро покончить с осмотром и отвалить, не прощаясь. Налево от входа стояло приземистое каменное строение без окон, снаружи к стене прислонены мётлы, лопаты, перевёрнутая тачка, тут же было устроено что-то вроде очага из обгорелых кирпичей с остатками мусора.

Было раннее утро. Лохматый огненный шар сверкал между кипарисами. Слышался неумолчный плеск моря. Со вздохом моё изображение двинулось по аллее, более или менее расчищенной, усыпанной толчёным кирпичом. Видно было, однако, что место мало посещается; серые плоские камни потерялись в густой, жёсткой и высохшей от зноя траве, кое-где торчали убогие памятники, дорожки к ним заросли. Старая карга назвала меня неучем. Но кое-что — кое-кого — я всё-таки знаю. Тот, кто отважился ступить в гущу чертополоха, продраться сквозь заросли остролиста и растения, похожего на крапиву, мог обнаружить немало знаменитостей.

Например, посчастливилось сразу же натолкнуться на поэтессу, которую я больше чту, чем люблю: я говорю о несчастной, удавившейся Марине. *Идёшь, на меня похожий, глаза устремляя вниз...* Паломник выбрался, весь облепленный колючками; аллея, сужаясь и постепенно теряя цивилизованный вид, упёрлась в стену, одетую диким плющом. Мне захотелось узнать, что там снаружи, я подтащил то, что подвернулось под руку, вскарабкался и увидал зелёную морскую тину у самого подножья стены. Остров был в самом деле крохотный, бесполезно искать на карте. Когда-нибудь море поглотит его.

Я пробирался вдоль стены, сперва попадались одни женщины. Наткнулся на полустёртый профиль, это была Вирджиния Вульф. Говорят, она набила карманы пальто камнями перед тем, как броситься в поток.

[1] Смелее (ит.)

Со смутным, хаотическим чувством, словно меня коснулся разор её души, я уставился на причудливый, похожий на окаменелый гриб памятник Ингеборг Бахман. Человек, с которым она провела последние годы, знаменитый швейцарец, довольно противный тип, — я сидел с ним рядом на каком-то банкете, — уверял меня, что это был несчастный случай, она заснула с сигаретой и сгорела во сне. Но теперь-то я знал... Джек Лондон будто бы отравился полусырым мясом. Хемингуэй чистил охотничье ружьё... Все оказались здесь.

Азарт, похожий на азарт кладоискателя. Томительное любопытство... Отыскался замшелый валун с именем Сергея Есенина. Найти другого соотечественника, того, кто оставил на столе стихи о любовной лодке, мне не удалось. Между тем солнце поднялось уже довольно высоко; по привычке я взглянул на часы. Они стояли.

Клейст был виден издалека. Он был офицером и стрелял без промаха. Я предполагал, что найду рядом ту, которую он избавил от жизни, прежде чем прицелиться в собственное сердце, её не оказалось. Я постоял возле Пауля Целана, выловленного из Сены. Стела уже покосилась. Пора было отправляться в путь; мне казалось, я слышу стук приближающегося баркаса. Я был без сил и снова видел перед собой белую дорогу, сверкающую гладь Генуэзского залива, снова высаживаюсь на острове самоубийц. Шатаясь, путешественник приблизился к выходу, но, не дойдя до ворот, опустился на траву перед нагретым, грубо стёсаным камнем и прочёл на нём своё имя.

Прочее — одежда

Voici la nudité, le reste est vêtement.
Voici le vêtement, tout le reste est parure.
Voici la pureté, tout le reste est souillure.
Voici la pauvreté, tout le reste est ornement.

Charles Pégy[1]

Женщина шагала в сандалиях, держа сумочку у бедра, ни на кого не глядя, люди оборачивались и смотрели ей вслед. У нас в России такой номер бы не прошёл, но тут дело происходило в стране, где строгость нравов, отнюдь не уступив место безнравственности, как бы ушла с поверхности в глубину. Тем не менее некто в зелёном мундире и брюках табачного цвета, в фуражке с гербом поманил пальцем незнакомку.

«Вам не холодно?»

Она возразила:

«Я привыкла».

Полицейский попросил предъявить удостоверение личности.

«Но у меня его нет с собой». И она показала пустую сумочку.

Он сказал, что вынужден её задержать.

«В чём дело?»

«Я думаю, вы сами понимаете».

«Я нарушила закон?»

«Отойдём в сторону, — сказал полицейский. — Ваше поведение надо квалифицировать как нарушение».

«Нарушение чего?»

«Точнее, как оскорбление».

[1] Вот нагота, а прочее — одежда. Вот одежда, всё прочее — украшенье. Вот чистота, всё прочее — грязь. Вот нищета, всё прочее — узор. *Шарль Пеги* (фр.).

«Боже мой, кого я оскорбила?»

«Оскорбление общественной нравственности. Нарушение приличий. Неужели вы не понимаете? В таком виде!»

«Разве я плохо выгляжу?»

«На вас ничего нет!»

«Неужели я так уж плохо сложена?»

«Не в этом дело».

«А в чём же?»

«Я полагаю, это не нуждается в разъяснениях. И, кстати, можно простудиться».

«О, нет. Погода великолепная. И к тому же я закалена».

«Вам приходится часто разгуливать вот так?»

«Иногда. Но вы не ответили на мой вопрос».

«Какой вопрос?»

«Хорошо ли я сложена».

«С точки зрения закона это не имеет значения. Важен факт нарушения».

«Да нет же: я имею в виду — с человеческой. С точки зрения мужчины, если хотите».

Полицейский вздохнул.

«С обычной точки зрения, вы сложены недурно».

«Может быть, вы поясните, что это значит».

Он усмехнулся.

«Вы сложены, как богиня».

«Благодарю. Но я всего лишь женщина. Небожителей невозможно мерять обычной меркой».

«Почему же? Было время, когда боги сходили с небес на землю».

«В Древней Греции?»

«Хотя бы».

«Я вижу, вы образованный человек», — сказала она.

«Я студент».

«И одновременно работаете в полиции?»

«Я учусь заочно. Получаю задания, сдаю экзамены. Отойдёмте... я должен записать вашу фамилию и адрес. Вам пришлют штраф».

«А если я откажусь платить?»

«Тем хуже; с вас взыщут по суду. Чем вы, собственно, занимаетесь?»

«Собственно, ничем».

«Гуляете по панели».

«Если вы имеете в виду проституцию — ничего подобного».

«Но, к вам, наверное, пристают».

«Бывает. Ничего хорошего из этого не получается, я умею защитить себя. Эта профессия внушает мне отвращение».

«На что же вы живёте?»

«О! у меня есть средства».

«Вы замужем?»

«Разумеется, нет».

«Прошу вас, мы мешаем прохожим. Вероятно, люди удивляются, почему я медлю. Вы ведь куда-то спешили?»

«Куда мне спешить. Я гуляю. Хоть и не в том смысле».

«Там есть небольшой скверик, прошу. Дело вот в чём, мадемуазель...»

«Мне не хотелось бы садиться».

«Вот чистый носовой платок».

«Спасибо. — Она опустилась на скамью, закинула ногу на ногу и сложила руки под грудью. — Я забыла спросить: что вы изучаете?»

«Философию».

«Вероятно, работа в полиции даёт возможность учиться».

«Наоборот. Полиция помогает разобраться в философии».

«Вы хотели мне что-то сказать».

«Да. Дело вот в чём. Мы уже говорили об оскорблении приличий...»

«Боже мой, какие приличия! О чём вы говорите! Бульварные журналы полны фотографий голых красоток. Реклама не стесняется использовать всё что угодно Телевизор еженощно демонстрирует порнографические сцены».

«Вы почти угадали мою мысль. К сожалению, никого теперь голым телом не удивишь. Ролан Барт говорит...»

«Кто это?»

«Был такой. Очень, кстати, неглупый человек».

«Среди философов это бывает не так часто? О, не обижайтесь. Так что же он говорит?»

«Одежда эротичней, чем голое тело. Женщина может одеться так, что будет казаться раздетой. Но при этом она должна остаться одетой».

«Вы не находите, что это отдаёт ханжеством?»

«В том-то и дело, что нет. Деррида говорит...»

«Вы замучили меня своей эрудицией».

«Виноват, больше не буду... Словом, что я хотел сказать. Нам грозит катастрофа. И вы — да, вы! — в числе её виновниц».

«Ничего не понимаю, — сказала женщина. — Катастрофа?»

«Именно. Наступила инфляция наготы. Пока что ещё люди оборачиваются, чтобы взглянуть на вас. Завтра и оборачиваться перестанут».

«Меня это мало волнует. Вы говорите, никого голым телом не удивишь. Я к этому и не стремлюсь!»

«Может быть. Но дело в том, что нагота не есть что-то абстрактное. Нагота сама по себе не существует. Не вы, а тот, кто вас видит, делает вас голой. Обнажённость реализуется в присутствии зрителя».

«Но я вовсе не нуждаюсь в зрителях!»

«Ах, оставьте. Нагота — это событие. Она всегда новость. А что произойдёт, если нагота станет банальностью? Для общества это чревато по крайней мере двумя последствиями. Двумя прискорбными последствиями».

«То, что на меня не буду обращать внимания?»

«Это я в качестве примера. А последствия следующие. Врачебная статистика говорит о том, что потенция мужчин уменьшается. И это понятно. Мужчины всё меньше интересуются женщинами. Стимул ослабевает, понятно?»

«Я бы сказала, наоборот...»

Собеседник скользнул глазами по её телу. Женщина непроизвольно подалась вперёд.

«Нет», — и он покачал головой. Перевёл взгляд на кусты и деревья.

«Вы боитесь посмотреть на меня?»

«Я боюсь разрушить таинственное очарование наготы».

«Ого! Я даже не подозревала в вас такую бездну романтизма».

«Женщина, — промолвил студент, — это всегда тайна. Она скрывает некую истину. А природа истины такова, что ей необходима игра с покрывалом. Едва только она мелькнула перед вами, как тотчас же скрылась под покрывалом. Истина женщины — её нагота. Истина может заинтриговать, лишь явившись полуодетой. Я бы даже сказал, что до тех пор, пока она не обнажена, она и остаётся

истиной. Оставшись без всего, она становится банальностью. Голая баба, ну и что? Ничего особенного».

«Я просто в восторге от вашего красноречия... Значит, если я сейчас оденусь, — проговорила она, оглядывая и оглаживая себя, — я стану привлекательнее? Верну себе, если я вас правильно поняла, утраченный шарм?»

«Я не договорил».

«Извините. Какое же второе последствие?»

«Вам не приходило в голову спросить себя: отчего в девятнадцатом веке наступил такой небывалый расцвет поэзии, философии, музыки? Не сравнить ни с прежними веками, ни с нашим временем».

«Отчего?»

«По-моему, это совершенно ясно. Девятнадцатый век — это был век торжества буржуазии. С её лицемерием, показной моралью, викторианским ханжеством. Словом, век, враждебный телу. Вспомните, как одевались женщины: всё закрыто, всё занавешено. Сверху платье до подбородка, снизу юбка до пола, корсет, тело, как у осы. На руках перчатки, на голове чудовищная шляпа. Какая-то неприступная башня в кружевах, бантах, оборках... Но!» — сказал, подняв палец, полицейский,

«Догадываюсь, куда вы клоните».

«Но зато такой наряд стимулирует фантазию. Даже едва высунутая ножка воспламеняет воображение. А что говорить об остальном! Под этой горой шёлка подозревались дивные чудеса. Такой наряд необыкновенно дразнил чувственность. А так как женщины, скованные всевозможными запретами, демонстрировали несокрушимую добродетель, чувственность, не находившая выхода, сублимировалась. Неудовлетворённая чувственность порождала взрывы творческой энергии. Если бы Матильда Везендонк уступила Вагнеру, если бы хоть разок разделась перед ним... — студент покачал головой, — уверяю вас, никакие песни Везендонк, никакие Тристаны и Изольды не были бы написаны! Ницше сказал: сексуальность пронизывает человека вплоть до вершин духа. Духа!»

«Простите, я, может быть, слишком примитивно мыслю. С одной стороны, вы сетуете на угасание чувственности, а с другой — требуете её запретить».

«Запретить чувственность невозможно. Напротив, её нужно воспитывать, не давать ей угаснуть...»

«Значит, если я показываю людям, какова я на самом деле...»

«Чувства притупляются. Народ привыкает. Представляете себе, что было бы, если бы все женщины последовали вашему примеру?»

«Для этого нужно, по крайней мере, одно условие».

«Условие, какое?»

«Тёплый климат. Кстати, я слышала, что в Индии самый большой прирост населения. А в Африке...»

«Причём тут Африка... Настоящая страсть, — подняв палец, сказал студент, — не может разгореться, если знакомство начинается с конца. Я имею в виду — с раздевания. Наступает разочарование, пресыщение — ещё до того, как страсть удовлетворена. И, конечно же, — продолжал он вдохновнно, — от этого страдает культура, вянет искусство. Упадок современного искусства, его вялость, его бессилие — как вы думаете, что это? Это вялость полового члена!».

«Ну, хорошо, — сказала она. — Я в философии не разбираюсь и не могу в сами соревноваться. Давайте проделаем небольшой опыт. Подержите мою сумочку, можете повесить её через плечо... Я зайду за кусты, а вы закроете глаза».

«Что это ещё за театр. Я при исполнении служебных обязанностей!»

«Ну, пожалуйста. Две минуты, не больше. Очень прошу. Только честно: не подсматривать. Вы ничего не видите. Считайте до двадцати и после этого откройте глаза. Вслух, пожалуйста».

«Раз, два, три...», — начал полицейский.

Он встал.

«...двадцать!»

И открыл глаза.. Шагнул к кустарнику, остановился. Негромко позвал. Никто не откликнулся

Он вернулся, присел на скамейку, подождав, снова поднялся, одёрнул мундир, поправил на голове фуражку. Пожал плечами и не спеша побрёл прочь.

Вдруг что-то толкнуло его, он остановился. «Вы?» — сказал он удивлённо. Женщина, во всей её ошеломительной красоте, держа руки на затылке, стояла в полусотне шагов от него. Ветер шевелил её волосы.

Он хотел побежать навстречу.

«Стоп, — послышался её голос. — Закрыть глаза. Не подсматривать. Теперь вперёд!»

Он подчинился, шёл, ничего не видя, протянув руки, навстречу, открыл глаза, на аллее снова никого не было. Кто-то подкрался сзади и прижал ладони к его глазам.

«Истина существует до тех пор, пока её не увидели. Как видишь, я неплохая ученица. Не оборачивайся».

Маленькие, ловкие пальцы женщины расстёгивали пуговицы на его груди, мундир упал на землю.

«А теперь... — проворковала она и прижалась грудью к его спине, — теперь ты понял, что такое истина?»

Сталь и плоть

Не каждому дано понять, в чём его предназначение. Долгое время тот, о ком здесь пойдёт речь, жил так, как если бы смысл жизни состоял в ней самой: в том, чтобы просто жить и производить потомство. Правда, он не слишком заботился о своих детях. Переводя на язык чуждого ему племени, можно сказать, что он не был создан для семейной жизни. То было время, о котором когда-нибудь будут говорить как о золотом веке. Эпос соплеменников пополнится новым циклом сказаний. Никогда ещё добывание пищи не было таким лёгким и приятным занятием, никогда в лесах не водилось столько лосей и кабанов. Отчасти из-за этого благоденствия он утратил бдительность.

Другая причина была та, что я как бы уже родился счастливчиком. Смутно вспоминаю моих братьев и сестёр, они погибли во время Большой облавы. Мать увела меня из родных мест в дальнее заречье, в непроходимые заболоченные леса. Отца я не помню. Я жил в удобном логове под вывернутыми корнями огромной упавшей ели, вход, прикрытый еловыми лапами, даже вблизи невозможно было заметить. Птицы кружили над моим жильём, привлечённые запахом гниющих костей и черепов, я любил этот запах. Невдалеке протекал ручей, это было очень удобно, в любое время дня и ночи я мог утолить свежей проточной водой жажду после одинокого пира. Такой у меня характер — я одиночка. Конечно, отыскать себе пару в конце зимы, когда на холодном солнцепёке, под слепящим небом старые ели роняют хлопья снега и наст начинает хрустеть и подламываться на полянах, для меня никогда не составляло труда. Я был красив! От моей матери я унаследовал богатый мех, серо-серебристый в сумерках, золотящийся на солнце, я гордо нёс за собой длинный пушистый хвост,

украшенный на кончике пучком чёрных волос. Я мог устроиться на дневку прямо на снегу, достаточно было лишь слегка его притоптать. Даже в трескучие морозы мне не было холодно. Живот у меня светлей, и там, где прячется мой пол, кожа особенно нежна и покрыта белым пухом. Я был красив и любил себя так, как самка любит самца, но моя страсть была неутолима.

Я никогда не потел, даже после многочасового изнурительного гона во главе стаи. Одно время я был вожаком. Но природное одиночество победило, и то же можно сказать о моих многочисленных любовных связях. У нас в обычае воспитывать волчат вдвоём и содержать их по крайней мере до тех пор, пока они не научатся сами добывать себе пропитание. Я же оставлял своих подруг и выводок где и когда мне вздумается. Возможно, это у меня от отца; как уже сказано, я не знал его. Зато мать стоит у меня перед глазами. Она происходила из старинного рода синеглазых волков, в ледяные ночи она показывала мне звёздное логово предков к югу от Весов, там, куда простирает руку Кентавр. От неё я унаследовал неподвижный, ледяной, немигающий взгляд, который парализует жертву.

Теперь можно начать историю, о которой уже упоминалось вскользь; волк был на вершине лет, в расцвете сил, мужской красоты и потенции; вокруг на десятки, может быть, сотни километров не было человеческого жилья, и о повадках людей он лишь знал понаслышке, не умел отличать запах человека, не был знаком с опознавательными зарубками на стволах, с красными ленточками, которые иногда привязывают к ветвям охотники. Никаких знамений, никаких предчувствий, обычных для представителей его расы. И всё это тоже сыграло свою роковую роль. Однажды ночью, на десятом году жизни, он угодил в капкан.

Не было ничьих отпечатков, никаких следов, кроме его собственных; должно быть, охотник отступал по своим же следам и забрасывал за собой снегом. Короткий клацающий звук, как будто щёлкнула чья-то пасть, и стальные клещи сдавили левую переднюю лапу выше запястья. Капкан был весьма искусно установлен по проходному следу, центр полотна находился под самым отпечатком волчьей ноги, механизм в глубине был прикрыт белой бумагой, чтобы днём не просвечивать под снегом, и от него тянулась проволока к волоку.

Показалось сперва, что сломана кость, но кость была цела. Он дёргал лапой, волок не поддавался, он был каким-то образом закреплён, чтобы зверь не ушёл с капканом. Волк потерял рассудок. Много часов он то дёргал капкан, то падал рядом, забывался на короткое время, снова вскакивал, дёргал и расшатывал крепления; лапа онемела, пальцы с когтями не шевелились, под утро пошёл густой снег, рассвет застал волка лежащим без сознания под толстой белой пеленой. Днём должны были появиться люди. Нужно было собраться с мыслями. Он подпрыгнул несколько раз и упал в мягкую могилу. Снегопад продолжался и замёл яму. Волк спустился в овраг, где его поджидала мать. Он хотел заговорить с ней, зашевелился в снегу, боль пробудилась и поднялась от мёртвой лапы к плечу. Подождав немного, он сделал новый прыжок и ещё один в сторону, и ещё один, и тяжёлый волок как будто подался. Солнце, как заспанный глаз, проступило сквозь густые облака. Волк прыгал в глубоком снегу, волоча за собой капкан, он искал убежище. Волк свалился в овраг. Так прошёл день. Вечером он умер.

Ветер разогнал снежные тучи, волк пребывал по ту сторону жизни, простёрся в сладостной истоме, не чувствуя ни боли, ни холода, радуясь тому, что не надо больше двигаться, не надо думать, не надо ничего. Уже третьи сутки он ничего не ел и не чувствовал голода, что было естественно, ибо за пределами жизни надобность в еде и питье отсутствует. Любопытно, что в этом потустороннем мире всё осталось прежним: снег, лесная чаща и медленно плывущие серые облака; я лежал на боку, на дне моей снежной гробницы, и почуял приближение людей. Это заставило меня одуматься; я

понял, что вернулся к жизни. Было сумрачно, за деревьями дрожали огни. Люди стояли с факелами, не решаясь подойти ближе. Вдруг залаяла собака, за ней другие. Вот кого мы презираем ещё больше, чем людей. В наших сказаниях есть миф о предательстве. Странно, что они медлят. К ночи я почувствовал себя лучше. А главное, я знал, что мне надо делать. Вокруг стояла тишина, над кронами деревьев стояла высокая белая луна. Я попытался встать на ноги, это удалось не сразу. Едва поднявшись, я снова упал, перевалился на живот, подтянул поближе омертвелую лапу в стальной подкове капкана и впился зубами повыше запястья; к моему удивлению это оказалось не очень больно. Я рванул кожу, почувствовал солёный вкус и увидел, как снег под капканом стал чернеть. Я услышал чьё-то урчанье. Это был я сам, мои зубы терзали лапу, теперь она пылала от боли, я упёрся в кость, предстояло главное испытание, насколько легче было бы, если бы кость была сломана! И я призвал на помощь призрак матери.

Она явилась, выскочила из тьмы и стояла надо мной, ничего не говоря и глядя на меня, как мне показалось, с вызовом. Её шерсть была окружена лунным сиянием. С отвратительным хрустом нога надломилась, от боли я потерял сознание. Когда я очнулся, моя лапа со скрюченными когтями, вместе с капканом лежала в чёрном от крови снегу. Я не знаю, кто это сделал. Моя мать исчезла. Я хватал комья снега, пропитанного замёрзшей кровью, глотал их. После этого я отполз в сторону. Я был свободен!

Кто-то должен был первым подать голос, пернатый самец впервые в жизни подманивал самку, к нему присоединялись другие, небо светлело, становилось выше и шире, солнце зажгло верхушки елей, и вот уже вся тайга звенела и гомонила голосами птиц; наступила весна. Волк вышел на дорогу.

Он был уже не молод, но всё ещё красив, с большим серо-седым воротником вокруг шеи, темноватым седлом на передней части спины, с пушистым хвостом, сохранившим чёрные волоски вокруг кончика, знак его происхождения. Он стоял на трёх лапах, поджав культю левой передней ноги, и неподвижно смотрел в просвет узкой просеки. Волк отказался от дневной лёжки, чуял приближение лошади, слышал мерное хлюпанье подков по непросохшей дороге и поскрипыванье колёс, чуял человека. Всё было известно и разведано, он должен был выбрать подходящую минуту. Он отбежал в сторону, навстречу ветру, чтобы не беспокоить ноздри лошади, следил из густого подлеска за тем, как человек в шапке лисьего меха и сам похожий на лису, с раскосыми глазами, с ружьём за спиной, проехал на подводе, сидя на мешках и упёршись в передок телеги полусогнутыми ногами. Это бывало нечасто, человек возвращался на заимку с поклажей и был в это время нетрезв. Волк нёсся большими прыжками по дороге, заслышав собачий лай, свернул в лес и появился с подветренной стороны. Дом в два окна с крылечком, крытый щепою, стоял под отлогой вырубкой по другую сторону ручья, рядом сарай и поленница под навесом. Волк брезгливо поглядывал на четырёхлапое существо, которое бегало, беснуясь, вдоль проволоки взад и вперёд от крыльца до сарая. Пёс не видел гостя. Волк улёгся в подлеске и ждал. Пёс успокоился.

Солнце медленно опускалось в дымно-лиловые облака, это предвещало назавтра пасмурный день. Волк дремал и в то же время бодрствовал. Вдруг собака вскочила и залилась лаем на своём диалекте, который представлял собой испорченный язык волков. Собака предупреждала хозяина об опасности. Телега стояла перед домом, мужик удерживал дрожащую лошадь. Волк перебрался через ручей и стал на виду, поджав обрубок ноги. Человек вставил два пальца в рот и громко, протяжно свистнул. Собака рвалась с цепи. Волк поднял голову к темнеющим небесам и завыл, это было вступление.

«Здравствуй», — сказал он.

Человек ответил:

«Здоро́во».

«Наконец-то мы увиделись».

«Цыц!» — прикрикнул хозяин, и пёс взвигнул, умолк, стал рыть передними лапами землю, заметался на проволоке.

«Вон там, — продолжал волк и кивнул в сторону леса, — лежит мой собрат, птицы выклевали ему глаза, его тело издаёт зловоние. Он попался в железные клещи. Это твоя работа».

Человек не отвечал, вскинул ружьё.

«Бей, бей его!» — завизжал пёс.

«Только попробуй», — сказал волк и широко открыл свои немигающие, тлеющие синим огнём глаза. Оружие выпало из рук человека, но он не уступал, угрюмо, не отводя глаз, смотрел на зверя.

«И вот это, — сказал волк, — твоя работа», — и поднял культю. Человек усмехнулся. Волк чувствовал, как ярость пса, как жаркое дыхание, обдаёт его на расстоянии пятнадцати прыжков; он понимал диалект собак, но собака с трудом разбирала благородную речь предков. Волк не удостоил её взглядом.

«Пусти её. Она ни в чём не виновата», — сказал он, показав кивком на лошадь. Мужик швырнул возжи на телегу, и лошадь помчалась прочь, гремя и скрипя колёсами.

«Что же мне с тобой делать, — проговорил волк задумчиво. — Загрызть твоего раба? Раскидать крышу на твоей халупе, растерзать кур, убить поросёнка? — Он покачал головой. — Не стоит труда».

Человек не двинулся с места, стоял как вкопанный. Пёс, звеня цепочкой, пробежал несколько шагов взад и вперёд, пролаял: «Не спорь с ним, не спорь с ним!»

«Видишь, он даёт тебе хороший совет. Я поклялся тебе отомстить. И вот теперь... — он по-прежнему, не мигая, смотрел на своего обидчика, — теперь думаю, как бы это сделать так, — волк скрипнул зубами, — чтобы ты почувствовал».

Он хотел сказать: чтобы ты понял. Чтобы знал, насколько мы, наша раса, превосходим всех вас, да, при всей вашей хитрости, вашей изобретательности, при вашем умении истреблять всё что стоит на вашем пути; да, чтобы ты почувствовал, и тогда я буду знать, для чего я жил. Он хотел это сказать, но получилось бы слишком многоречиво, он привык выражаться кратко. «Становись на колени, — захрипел волк, — проси прощения, сволочь!»

Собака проскулила: «Не спорь, делай что он велит!» Мужик не шевелился. Волк повторил свою команду. Так они стояли друг против друга, и человек еле заметно покачал головой — то ли отказывался подчиниться, то ли удивлялся. Волчьи глаза потускнели, он обвёл скучным взором избу, подводу, остановившуюся невдалеке, охотника в лисьем треухе. Отбежав шагов на тридцать, зверь остановился и повернул голову. Мужик целился в него из ружья. Волк вздохнул и не спеша потрусил дальше. Эхо выстрела отозвалось в лесу.

Alter Ego[1]

Магнитофонная запись, найти которую не составляло труда, — аппарат с невынутой кассетой стоял на письменном столе, — не убедила инспектора, он принял её за очередное литературное произведение. Ни одна из альтернативных версий, однако, не выдержала проверки. Опрос соседей ничего не дал, кроме того, что подтвердилось уже известное: убитый вёл замкнутый образ жизни. У него не было семьи. Дальняя родня, вдобавок проживающая в другом городе, судя по всему, давно прервала с ним отношения. Вдобавок полиция столкнулась с тем, что в криминальных романах име-

[1] Другое я (*лат.*).

нуется the locked room mystery и что, к сожалению, иногда бывает в жизни: преступление в квартире, запертой изнутри.

Подозрение, что там что-то случилось, возникло не сразу. Бывает, что одинокий человек умирает у себя дома без свидетелей, и никто об этом не знает. Его перестали видеть (по утрам он выходил за хлебом). Он не подходил к телефону, в наружную дверь не достучаться. Тревогу подняла уборщица. В присутствии дворника и понятых были отомкнуты оба замка. Стало очевидно, что никаких других способов покинуть квартиру, кроме как выйти на лестничную площадку, у преступника не было. Наглухо закрытые изнутри окна, восьмой этаж, гладкая наружная стена исключали возможность бегства.

Результаты осмотра подробно изложены в протоколе; вот краткое резюме. Квартира состоит из прихожей, довольно просторного рабочего кабинета, столовой, комнаты с диваном, которая, очевидно, служила спальней, ванной комнаты, уборной. Хозяин занимал эти хоромы один. Особых ценностей, как-то: крупных денежных сумм, ювелирных изделий, дорогостоющих произведений искусства и т. п. не обнаружено. Следы грабежа отсутствуют.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате заполнения кровью околосердечной сумки после ранения в область сердца. Рана нанесена колющим оружием. Труп, несколько необычно одетый, находится в сидячем положении, с головой, упавшей на письменный стол, следы крови (очень скудные) на одежде и на ковре рабочего кабинета. Здесь же валяются орудия преступления: шпага с прямым однодольным клинком длиной 700 мм, изогнутым эфесом и дужкой (гардой) и кинжал-дага длиной 250 мм, с прямым клинком, рукоятью для левой руки и крестовиной, концы которой направлены вперёд. Отсутствие пальцевых отпечатков указывает на то, что злоумышленник либо тщательно вытер рукоять и эфес, либо действовал в перчатках.

Соседи единогласно подтвердили, что голос принадлежит убитому. Интересно, что, даже находясь в критическом состоянии, произнося своё последнее слово, человек не утратил профессиональных навыков. Связная речь (за исключением двух-трёх испорченных мест), более или менее закруглённые фразы, короткие паузы, как бы отмечающие новый абзац, — всё это, видимо, ввело в заблуждение инспектора уголовного розыска, заставив предположить, что он имеет дело с литературным произведением. Можно добавить, что незадолго до расследования инспектор провёл несколько дней на республиканском семинаре по проблемам самоубийства. Знания по этому вопросу, по-видимому, не пригодились.

Начало записи оборвано.

...чужая лысая голова. Кусты дремучих бровей, борода — я не узнал себя. Мне показалось, что из зеркала на меня смотрит кто-то другой. На мне долгополый халат, древние шлёпанцы. (*Примечание.* Указанные вещи найдены в ванной комнате). В этом одеянии я расхаживаю по моим апартаментам, листаю книжки, включаю музыку и тотчас выключаю, подхожу к письменному столу записать мелькнувшую мысль. У меня больше нет женщин, хотя изредка, в виде отдыха, я позволяю себе смотреть порнографические фильмы; о бывших друзьях ничего не слышу; телефон молчит.

Нет времени подробно рассказывать о себе, да и незачем. Я думаю, внимательный читатель — таких, увы, не так-то много, люди читают с пятого на десятое, отвлекает телевизор, отвлекает газета, отвлекает политика, то есть, попросту говоря, труха, которая уже завтра превратится в пыль, о литературных критиках и говорить нечего, им вообще некогда читать книги, — внимательный читатель, говорю я, мог бы собрать из моих произведений, по мелочам, по осколочкам, всю мою жизнь. Много лет подряд я занимался тем, что выдавливал сок своего мозга на бумагу. У меня не хватало

терпения дождаться, пока снова накопится драгоценная жидкость; порой я чувствовал себя совершенно опустошённым, обезвоженным, бессильным.

Вдоволь насмотревшись... (*шорох, испорченная плёнка*). Так на чём я... две щётки в стакане, совершенно одинаковые... выйдя из ванной комнаты, улёгся и погрузился в размышления, точно вошёл в мутную тину, и тут меня легонько шлёпнули по щеке.

Оказалось, что я-таки задремал; забвения хватило на... (*голос временами гаснет; звук передвигаемых предметов*). Обратите внимание, о-о, проклятье... Так вот, что я хотел сказать. (*Говорящий собрался с силами*). Заметьте, что во сне можно пережить состояние утраты своего «я». Во сне отсутствует личное местоимение. Некто очутился в странном мире, но мир не кажется странным; действуешь в согласии с его абсурдной логикой, замечаешь подробности. Но ощущение себя, своей личности отсутствует, словно в мозгу отключён некий центр, ответственный за самосознание. Сон без сновидца. Всё равно что увидеть мир после своей смерти, он тот же, а тебя больше нет. Казалось бы, невозможно лишиться «самости», сохранив все её способности, а вот, пожалуйста. Трон, на котором восседает Я, пуст. Или, может быть, надо говорить об освобождении, об избавлении из оков своего «я», этой клетки, в которую мы заключены с тех пор, как начинаем себя сознавать?..

Так вот. Клянусь, то, что со мной случилось, не было сном. Я был бодр, я и сейчас бодр; да, да, в здравом уме и памяти. Я в полной мере обладал своей личностью. Разве только последовательность мелких событий путалась: что было сперва, что было потом. Но ведь так бывает в первую минуту после того, как проснёшься... Но вот что интересно: оказалось, что к тому самому мозговому центру, который заведует самосознанием, если он вообще существует, я, конечно, не специалист, — к нему присоединился ещё один. Или это было что-то другое... кто-то другой поселился в мозгу? Словом, не могу объяснить. Не хватает нужных слов. Скажут: вот так писатель. Да, я и в творчестве своём доходил до границ выразимого, до пределов того, что ещё можно облечь в слова; я даже думаю, что именно поэтому теперь это произошло на самом деле. Скрипнула дверь, послышались или почудились шаги, я выбрался из уборной, где провёл довольно много времени, — обычная история, — сидел на диване в нижнем белье, ловил шорохи, вздохи вещей. Когда, наконец, облачившись, как в мантию, в мой халат, я прошествовал в кабинет и, кашлянув, остановился на пороге, бородач, сидевший спиной ко мне за столом, не обернулся.

Я услышал его голос:

«У вас запор».

«Это моя рукопись», — сказал я.

«Вижу. Обе вещи, запор и вот это. Очевидная связь. Не правда ли?»

Я спросил:

«Это ваша щётка?»

«Какая щётка?»

«Зубная. На полочке в ванной».

Он сложил стопкой мои листки, их довольно много, бóльшая часть написана от руки, кое-что перепечатано, я всегда так работаю, машинка даёт мне возможность отвлечься от самого себя, взглянуть на текст со стороны, моими, но уже как бы и не моими глазами. Складывает, стало быть, мои листки, поворачивается и спрашивает: что я думаю об этом сочинении?

Что я думаю, гм... Докладывать ему, что это, может быть, мой последний труд, что я шёл к нему, сам того не сознавая, долгие годы, — моё высшее достижение, мой подвиг? Великий магистериум алхимиков, к которому готовились, изнуряя себя постом, простаивая на коленях ночи напролёт... Всю жизнь, с тех пор как я начал покрывать бумагу чёрными строчками, орошать её невидимыми слезами, — всю жизнь! — я мечтал создать что-то окончательное, неопровержимое, роман-приговор, роман-син-

тез, роман — итог и диагноз нашего нашего века, а вместе с тем и баланс моей собственной жизни... Сколько бессонных ночей, сколько сомнений... Это венец моих усилий. Я знаю себе цену. И не люблю пафоса.

«Правильно делаете. — Кажется, он угадал мою мысль. — Пафос был бы здесь неуместен. Жалкая проза; один язык чего стоит. Вязкий, многословный».

«Вот как?» — сказал я холодно. Меня и забавлял, и бесил этот тон. Даже если он заглядывал в рукопись, не думаю, чтобы он мог всё разобрать, всё-таки бóльшая часть написана от руки, почерк у меня мелкий, да и кто теперь читает книги внимательно, так, как их следует читать. Небось, проглядел, пролистал, и готово дело, приговор вынесен.

«Послушайте... может, вы присядете? Оставим эти церемонии — давай на ты».

Я пожал плечами, на ты, так на ты, — мне было безразлично. «Куда же мне сесть, — возразил я, — ты занял моё место».

«Ничего подобного. Это моё место».

То самое место, на котором я сейчас сижу. Крутись, лента... Я ещё вполне...

Усмехнувшись, я сказал:

«Насколько я понимаю, ты мой двойник, довольно распространённый сюжет, я бы даже сказал, банальный».

«А ты другого и не заслуживаешь. Вполне в твоём духе».

Я пропустил мимо ушей эту колкость.

«В жизни так не бывает».

«Всё бывает. В том числе и то, чего не бывает... Хорошо, что ты наконец-то вспомнил о том, что существует реальная жизнь».

«Вы хотите сказать... хочешь сказать, что у меня не все дома?»

«Отнюдь. Это значило бы, что и я спятил».

«Но всё-таки. Кто здесь настоящий, кто из нас существует на самом деле?»

Вместо ответа (а что он мог ответить?) незваный гость — а как ещё его назвать? — хмыкнул, поднял брови, покачал головой. И всё это с таким видом, точно он разговаривал с несмышлёнышем.

Я решил набраться терпения, объяснил, что мне трудно вести беседу с человеком, который считает, что он — это я. По чисто грамматическим причинам: какое местоимение надо употребить?

«Ego Imperator Romanus supra grammaticos![1] Говоришь, банальный сюжет... Забудь о литературе. Не я у тебя в гостях, а это ты, можно сказать, явился ко мне на поклон. Я — подлинник, а ты всего лишь дурная копия».

Смотрите-ка, он и латынь знает. «Вот что, — сказал я. — Забирай своё барахло и...» Я показал на дверь. Думаю, каждый на моём месте почувствовал бы себя оскорблённым.

Ещё я хотел сказать, что не вижу необходимости продолжать дискуссию, да и час уже поздний.

«Ты всё равно не спишь».

«Ты в этом уверен?»

«Понимаю, — сказал он. — Ты думаешь, что я тебе приснился. О, Господи. Если бы это было так... Да ты должен меня благодарить! Гордиться должен, что существует нечто высшее, чем ты, и в то же время часть тебя самого... Радоваться, чёрт подери, что я, наконец, здесь».

«Никто вас не звал!»

«А вот это ты уже напрасно».

«Позвольте спросить: чем это вы лучше меня?»

---

[1] Я римский император и стою выше грамматиков (*фраза приписывается имп. Сигизмунду*).

Сказав это, — лучше сказать: прошипев, — я внезапно почувствовал головокружение, у меня это иногда бывает, — на этот раз очень сильное, — схватился за что-то, — похоже, что я потерял себя на какие-то считанные секунды, но сейчас же овладел собой. Всё прояснилось. Я сидел в кресле за моим столом.

А он стоял, нахохлившись, посреди комнаты, неряшливый, в старом халате, в полуистлевших шлёпанцах. И я почти испытывал к нему сострадание.

«Так, — сказал я. — на чём же мы остановились...»

Я листал его бездарную писанину.

«Чем я лучше? — повторил я. Наш странный разговор продолжался. — Да хотя бы тем, что у меня нормально работает желудок. Что, между прочим, для литературы имеет немаловажное значение. А ты этого не знал? Физиология, друг мой, великое дело! При нашем сидячем образе жизни. Одно дело — вымученная проза, когда третий день нет стула, и совсем другое, если вовремя опорожнился... Чистить желудок! Кто это сказал?»

«Гиппократ».

«Прими слабительное».

«Уже принимал. Никакого результата... Послушайте, — сказал он, снова сбиваясь на вы, — ведь это уже совсем нехорошо».

«Что нехорошо?»

«Какое-то раздвоение личности. Это уже пахнет психиатрией».

Я не стал возражать, — зачем?.. А, чёрт... (*Шорох в магнитофоне*). Ничего, сейчас справлюсь.

(*Пауза, пустая плёнка*).

«Мы отклонились от темы. Посмотри, как ты живёшь. Ты опустился, кругом грязь. Кто-нибудь убирает твою берлогу?»

«Приходит одна».

«Небось, спишь с ней... Гони её в шею».

«А это, между прочим, — сказал он, — не твоё собачье дело».

Мне пришлось строго заметить ему, что я грубостей не потерплю. Помолчали немного; я снова перебрал листки. Читать я всё это, конечно, не мог, но ведь о прозе можно судить по одному абзацу.

Я вздохнул. «Что можно от тебя ожидать? Я никогда бы не написал такую пошлятину, как вот это...»

Чувствуя своё превосходство, я уселся поудобнее и продолжал:

«Вот что я тебе скажу, братец. Ты называешь это преданностью искусству».

«Что называю?» — спросил он.

«Твой образ жизни. А на самом деле это отвратительный, граничащий с преступлением эгоизм. Дай мне договорить. Ты отвадил от себя всех своих друзей. Вынудил жену оставить тебя, и вскоре после этого больная женщина умерла. Ты бросил детей на произвол судьбы, их воспитывает бабушка. Которой тоже не так уж много осталось. Деньги, которые принадлежали не тебе, ты присвоил, захватил себе квартиру, ты, между прочим, не такой уж простачок, каким прикидываешься, ты... — тут я позволил себе смачное выражение — своего не упустишь, мимо рта ложку не пронесёшь! И всё это под предлогом того, что мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких, гениальный художник, великий писатель!».

Я впился в него глазами, надеялся, что это по крайней мере заставит его одуматься. Куда там — он насупился, нахохлился, поглядывал на меня волчьими глазами из-под клокатых бровей. Мрачно, с шумом втянул воздух в ноздри и отвёл глаза в сторону.

«Но искусство мстит! — воскликнул я, подняв палец. — Искусство мстит за подлянку! Вот результат, — я показал на пухлые папки и то, что лежало стопкой на столе. — Ну-ка живо, — приказал я. — Принеси какое-нибудь блюдо. Или поднос».

Он подчинился... вернее, я подчинился. Бесполезно, я думаю, пытаться объяснить, каким образом мы опять поменялись местами. Лёгкое головокружение, минутная потеря сознания... Впрочем, я и сейчас еле держусь... Словом, для этого понадобилось одно мгновение. Я снова стоял посреди моего опоганенного кабинета. Почему опоганенного? Сейчас станет ясно. Авантюрист, самозванец, которого никто не приглашал, который и внешне, по-моему, не так уж и был похож на меня, — мне даже подумалось, не разыгрывает ли меня кто-то, — ощерясь, сложил на подносе моё творение.

«Э, э! — закричал я. — Запрещаю! Не смей! Ты наделаешь пожар!»

Он поднёс к стопке листов зажигалку. Комната наполнилась дымом, моя проза пылала; он шуровал в костре, приподнимал горящие страницы чем-то подвернувшимся под руку, пепел хлопьями насился в воздухе; совершив это ауто-да-фе, гость потребовал тряпку. Я должен был убирать следы, выносить остатки, пришлось открыть окно. Чёрная ветреная ночь ворвалась в мою обитель. Всё это время он сидел, развалившись в моём кресле, с чрезвычайно довольным видом.

С тряпкой в руках, утирая слёзы рукавом, я стоял посреди комнаты.

«Это ваша щётка?» — спросил я снова.

«Какая щётка?»

«Зубная, в ванной. Забирайте её и... и чтоб вашего духу здесь не было».

«Что это значит?» — сказал он надменно.

«А вот то и значит. Пошёл отсюда вон!» — завопил я. Моя борода трепыхалась от гнева и сквозняка. В сердцах я захлопнул окно.

«Та-ак, — медленно проговорил он. — Ты меня выгоняешь. А если я не уйду?»

Я швырнул тряпку в угол, машинально отёр ладони о халат.

Он поморщился.

«Ты бы хоть руки вымыл... Ну что ж, как будет угодно вашему сиятельству. Я ведь желал тебе добра. Я ведь только напомнил. Думал, может, у него проснётся совесть...»

И он задумался на минуту.

«Есть предложение. Давай расстанемся благородными противниками. Будь добр, не в службу, а в дружбу. Принеси там... из прихожей».

Тут надо бы удивиться, спросить, что ему надо. В крайнем случае сказать: ступай сам, если тебе нужно. И остаться, наконец, одному. О, как хотелось остаться одному! Сесть в кресло, обдумать случившееся. Ничего такого я не сделал, вынес что он просил.

«Я не умею фехтовать, — сказал я. — Никогда в жизни не держал...»

«Ничего, научишься. Вот это дага. Бери в левую руку. А в правую... Только, знаешь. Надень что-нибудь поприличней. Сейчас я тебя заколю по всем правилам».

Я вернулся, на мне были алые бархатные штаны до колен, чулки, туфли с пряжками, белая полотняная рубашка с рюшами на груди. По дороге я заглянул в ванную, мои седые кудри вокруг сверкающего черепа произвели впечатление на меня самого. Я благоухал духами. Вошёл — на нём был такой же костюм.

Бросили жребий. Я поймал на лету шпагу, брошенную мне.

Мы отсалютовали друг другу и встали в позицию, в правой руке шпага, в левой короткий кинжал.

Несколько раз мы скрестили наше оружие. Получалось недурно. Он выкрикивал фехтовальные термины, я молча парировал.

Он засопел, глаза его засверкали, и стало ясно, что игра превращается в бой.

С полной ответственностью заявляю, что у меня не было намерения убивать его. Кто бы он ни был. Я был очевидным образом сильнее и ловче. Мне удалось выбить у него из рук шпагу, мы сблизились почти вплотную друг к другу, и я ударил его наотмашь кинжалом в грудь. Он прошептал: «Ты убил меня — свою лучшую

часть...» Падая, мой противник успел ткнуть меня своей дагой. Я пошатнулся и выронил шпагу.

Крутись, лента, крутись... Мне надо успеть договорить. Я уже почти не здесь. Я — где-то. Только бы успеть договорить...